



Искандер Арысов

Поэма без героя, наоборот

Искандер Арысов

Поэма без героя, наоборот

«Автор»

2026

Арысов И.

Поэма без героя, наоборот / И. Арысов — «Автор», 2026

Что, если бы суд над Иосифом Бродским состоялся не в заурядном зале ленинградского Дзержинского района, а на небесах — среди облачных канцелярий, пахнущих сургучом и машинописной краской? Роман-трагедия «Поэма без героя, наоборот» разворачивается в метафизическом судилище, где решается один и тот же вопрос: тунеядец или гений? Где слово стоит против статьи, а стих — против протокола. Сквозь показания теней — матери, соседа, геологов, учительницы, даже самой Костяной Ноги, судьи из 1964-го, — проходит вся «рваная жизнь» поэта, от фрезерного станка до кочегарки, от морга до Нобелевской сцены. Но когда его голос начинает звучать, бумажные улики рассыпаются в прах, потому что язык не помещается в папки. Написанный в гротескном стиле, полный вязкой бюрократической метафизики и болезненной красоты, этот роман — не о приговоре. Он о том, что настоящий суд всегда длится вечность. И о том, что состав преступления против поэзии бесконечен.

© Арысов И., 2026

© Автор, 2026

Искандер Арысов

Поэма без героя, наоборот

Пролог. Откуда берутся дела, или. Как небо заполнилось бумагой

Тот, кто думает, что смерть — это тишина, никогда не сидел в приёмной небесной канцелярии. Смерть — это запах сырой мастики, смешанный с запахом старых валенок и чернил «Радуга», которые пахнут детством и преступлением одновременно. Небеса — это не облака, не райские кущи, не золотые ворота. Небеса — это бесконечный коридор, стены которого обиты серым дерматином с вытертыми пятнами, где когда-то висели портреты вождей, но теперь их заменили таблички с номерами дел. Пол здесь скрипит, как половицы в коммуналке, где три семьи делят один унитаз, и каждый шаг отдаётся эхом, похожим на стон кочегара, который топил печь в Норенской.

Иосиф Бродский не хотел умирать. Он хотел дописать стихотворение про осень в Риме, где дождь идёт не вниз, а вбок, как будто сам ветер хочет прочесть строчки, но боится промочить их насквозь. Но смерть пришла не как враг, не как спаситель, а как курьер из отдела доставки — с потёртой сумкой, в которой вместо писем лежали последние вздохи. Она постучала в дверь его нью-йоркской квартиры 28 января 1996 года и сказала:

— Иосиф, у вас заказ. Вы должны расписаться вот здесь.

Он взглянул на бумагу и увидел, что это не квитанция, а приказ о перемещении в иную инстанцию. Подпись стояла уже чужая, не его, но он поставил свою — кривую, с кляксой, как у мальчика, который боится контрольной. И в тот же миг его сердце перестало считать время, а лёгкие — перебирать звуки. Он вышел из тела, как выходят из трамвая на конечной остановке, и оглянулся: его пальцы всё ещё лежали на клавиатуре, но вместо букв печатали тишину.

Дальше был коридор. Он шёл по нему долго — сколько, неизвестно, потому что на небесах нет часов, есть только счётчики грехов, которые тикают, как старые метрономы. Стены меняли цвет: сначала они были жёлтыми, как страницы допросов, потом зелёными, как больничные халаты, потом чёрными, как печные дымоходы. И вдруг он увидел дверь с табличкой: «Отдел перерегистрации бывших граждан. Вход только с делом».

Он постучал. Ему открыл **Григорий Маркович**, маленький сутулый человек с лицом, похожим на скомканный конверт, и с очками, которые держались на воске. Он был регистратором, но на самом деле — никем, потому что никто не знал, откуда он взялся и куда уйдёт. Григорий Маркович принял Бродского без удивления, как принимают заблудившегося котёнка, и указал на табурет.

— Садитесь, Иосиф. Ваше дело поступило вчера, но я не мог его открыть, потому что оно пахло сыростью. Я боялся, что буквы расплывутся. Давайте я прочитаю его вслух, а вы подтвердите факты.

Он достал папку из сейфа, который оказался старым холодильником «ЗИЛ», и начал читать:

— «Дело № 1964/П-Б. Обвиняемый: Бродский Иосиф Александрович. Пункт обвинения: тунеядство, то есть уклонение от общественно полезного труда, выразившееся в систематическом написании стихотворных текстов без официального трудоустройства и членства в творческом союзе». Подтверждаете?

Бродский молчал. Он смотрел на лампу дневного света, которая висела над головой регистратора и жужжала, как муха в банке. Лампа была грязной, и в её свете бумаги казались не бумагами, а клочками кожи, содранной с живого.

— Я подтверждаю, — наконец сказал он. — Но я не подтверждаю, что это преступление.

— Это не нам решать, — вздохнул Григорий Маркович. — Нам решает высшая инстанция. Я просто регистратор. Я записываю, что вы сказали. А дальше дело идёт в суд. Но у нас

очередь — тысяча двадцать три дела перед вами. Так что подождите. Можете пока почитать газеты.

Он кивнул на стопку старых «Правд», которые лежали в углу и пахли нафталином. Бродский взял одну — там была статья о перевыполнении плана по чугуну — и отбросил её. Он не хотел читать о чугуне, когда внутри него звучал стих о конце империи.

— Можно мне написать? — спросил он.

— На чём? — удивился регистратор. — У нас нет бумаги. Вся бумага ушла на дела. Но вы можете писать на стенах. Только потом не жалуйтесь, что их побелят.

Бродский подошёл к стене и провёл пальцем по дерматину. Его палец оставлял след, но след был невидимым, потому что писал он на языке, который не имел цвета. Он написал:

«Здесь начинается другая жизнь, где стихи — это единственная валюта».

И стена отозвалась. Она стала влажной, как бывает влажной кожа после бани, и на ней проступили буквы, которые мог прочесть только тот, кто знал, что такое настоящая рифма. Григорий Маркович посмотрел на стену и покачал головой:

— Вы усложняете мою работу, Иосиф. Теперь мне придётся переписывать это в дело. А у меня чернила кончаются.

Он достал чернильницу, которая оказалась банкой из-под компота, и макнул туда гусиное перо. Но перо не писало — оно шипело, как змея. Григорий Маркович выругался на идиш и сказал:

— Идите в зал ожидания. Там есть скамейка. Сидите и ждите. Когда настанет ваш черёд, я зажгу лампу, и вы придёте.

Бродский вышел в зал. Там сидели другие души — кто-то спал, кто-то читал книгу без букв, кто-то играл в шашки на газетном листе. Все они были похожи на него: уставшие, раздетые, без надежды на скорый суд. Он сел на скамейку, которая была сделана из старого шкафа, и закрыл глаза. Но внутри него продолжали звучать строки — те, что он написал в Норенской, те, что он переводил в Мичигане, те, что он шептал на смертном одре.

И тогда он понял: его дело не в папке. Его дело — в этих строках. И если он перестанет их слышать, он исчезнет. Поэтому он начал шептать их вслух:

— *«Воротись на полпути, воротись на полиага...»*

И вдруг зал ожидания задрожал. Лампы замигали, пол закрипел, и из всех углов вылетели бумаги — не его дела, а сотен других, которые ждали своей очереди. Они кружились, как осенние листья, и каждая бумага несла в себе чью-то судьбу, чью-то вину, чьё-то оправдание. Бродский понял, что его голос начал процесс, который нельзя остановить. Слово — это не просто звук. Слово — это двигатель небесной бюрократии.

Григорий Маркович выбежал из комнаты с чернильницей и закричал:

— Что вы делаете?! Вы нарушаете тишину! Это же зал ожидания! Здесь нельзя шептать!

— Я не шепчу, — ответил Бродский. — Я дышу. Моё дыхание — это стихи. Если я перестану дышать, я умру во второй раз.

Он встал, и бумаги улеглись у его ног, как собаки. Он прошёл по ним к двери с табличкой «Высший суд», которую раньше не видел, и толкнул её. Она была не заперта. За ней был огромный бетонный зал, где за столом сидел **Функционер** с лицом, похожим на фрезерную станину. Рядом с ним стояли скамьи для свидетелей, и все они были пусты.

— А, это вы, — сказал Функционер, даже не подняв головы от бумаг. — Я знал, что вы придёте раньше времени. Все поэты приходят раньше. Им не терпится объяснить, что они не тунеядцы. Садитесь, Иосиф. Мы начнём, как только прибудет остальной состав. Но учтите: у вас нет адвоката. Вы сами себе защитник.

Бродский сел на стул, обмотанный колючей проволокой. Проволока не кололась — она была мягкой, как старая верёвка, потому что он уже не боялся боли. Он посмотрел на Функционера и сказал:

— Я не хочу защищаться. Я хочу говорить.

— Говорите, — ответил Функционер. — Но помните: всё, что вы скажете, будет использовано против вас. Или за вас. Мы ещё не решили.

Тогда Бродский закрыл глаза и начал читать всё, что он когда-либо написал. Он читал не про себя, а вслух, и каждое слово падало на бетонный пол, как капля воды, которая камень точит. Функционер слушал, и его стальное лицо начало покрываться ржавчиной — не от времени, а от звука.

— Хватит! — крикнул он через час. — Я понял! Вы работали! Вы работали так, как никто из нас не работал. Но закон есть закон. Нам нужно решить, нарушили ли вы его. Поэтому мы проведем суд. Он будет долгим. И он будет честным. Мы пригласим свидетелей, экспертов, даже вашу мать. И мы решим, что вы такое: паразит или гений.

Бродский открыл глаза и улыбнулся. Его улыбка была горькой, как кофе без сахара, но в ней было что-то детское, что-то от мальчика, который украл книгу Китса в библиотеке.

— Суд не может решить, что я такое, — сказал он. — Суд может только решить, что я не такое. Я — не тунеядец. И это всё, что вам нужно знать. Остальное вы услышите в процессе. Я готов.

И так началась самая длинная тяжба в истории небес, которая длилась всего один день, но за этот день перевернулись все архивы мира. А до начала суда Бродский сидел в зале ожидания и продолжал шептать свои стихи, потому что только они могли держать его в этой реальности — между жизнью и смертью, между обвинением и оправданием.

Григорий Маркович, который в конце концов сдался, сел рядом с ним и спросил:

— А зачем вы всё это пишете? Ну, стихи? Они же не приносят денег.

Бродский посмотрел на него, и его глаза были прозрачными, как лёд на Неве.

— Деньги, — сказал он, — это бумага, которая обещает хлеб. А мои стихи — это бумага, которая обещает бессмертие. Какая из них ценнее?

Григорий Маркович не ответил. Он только вздохнул и засунул свою чернильницу в карман. Он знал, что от этого разговора его работа станет ещё сложнее. Но он также знал, что впервые за тысячу лет ему захотелось прочитать стихотворение.

Он взял чистый лист — единственный, который не был делом, — и написал на нём:

«Сегодня я регистрировал поэта.

Он пах дождём и типографской краской.

Я думал, он — бумага, но оказалось,

Что он — дыхание, которое стало рифмой».

И он повесил этот лист на стену, где когда-то висели портреты вождей. И в тот же миг стена стала тёплой, как тело, и задышала.

Так начинается суд. Но на самом деле он начался намного раньше — в 1964 году, когда судья спросила: «Кто вас признал поэтом?» — и слышала в ответ: «Никто». Этот вопрос и этот ответ до сих пор не имеют окончательного решения, потому что поэзию нельзя признать или не признавать. Она есть. И пока она есть, суд никогда не кончится. Но это не страшно. Потому что настоящий суд — это не приговор, а голос, который продолжает звучать даже после того, как зал опустеет.

Конец пролога.

Глава первая. Канцелярия на облаке, или Заседание о веществе духа

Небесное судилище пахло не ладаном и не райскими яблоками. Оно пахло канцелярским клеем, старой бумагой, машинописной лентой «Эрика» и кислым потом делопроизводителей, которые не умирали уже тысячи лет. Потолок здесь был сделан из серого бетона с трещинами,

напоминающими карту Ленинградской области, а вместо солнца за окном тускло горела лампа накаливания под жестяным абажуром. Рай оказался огромным архивным управлением, где каждая душа проходила перерегистрацию. И сегодня на повестке стояло «Дело № 1964/П-Б» — гражданин Иосиф Александрович Бродский, двадцати четырёх лет от роду, с неустановленной занятостью.

Председательствовал Судья с лицом, похожим на старую фрезерную станину, — всё в серой окалине и маслянистых складках. Он не носил мантии, потому что здесь, наверху, уже никто не притворялся. Он был просто **Функционер**, и его голос напоминал скрип стула, на котором когда-то пытали свидетелей.

— Приступим, — сказал он, и бумаги взлетели в воздух, как стая голодных чаек над свалкой. — Нам необходимо установить: был ли данный субъект полезен или являлся паразитическим элементом. Вопрос времени и места рождения.

Дверь, обитая дерматином, отворилась. Вошла Тень Матери. Она была бледной, с прозрачными кистями рук, и говорила так, будто у неё во рту застряли мокрые опилки.

— Он родился в сороковом, в блокадную зиму, — сказала она. — Ещё до войны, но уже с ощущением, что мир кончился. Ребёнок был слабым, с голодным ртом, но когда плакал — его крик падал на пол длинными хореическими ступнями. Я держала его на руках, а он уже тогда смотрел не на меня, а в угол, где висела тень Николая Гумилёва. Я не знала, что это гений. Я знала, что он не ест кашу. Он требовал слов. Сначала «мама», потом «небо», а потом вдруг прочитал мне вслух инструкцию по эксплуатации швейной машинки «Зингер» как молитву. Судья, он не был тунеядцем. Он был ребёнком, который слишком рано понял, что предметы говорят громче людей.

Но Функционер даже не моргнул. Его веки были похожи на стальные шторы.

— Нам нужны факты, — отрезал он. — Где запись о его трудовой деятельности? Где отметки в комсомольской организации? Где его профиль как винтика?

Тень Матери растворилась в тени собственной печали, и на сцену вылетел Обвинитель — маленький человек в пыльном костюме, с галстуком, завязанным удавкой. Его звали **Советский Шепот**. Он никогда не говорил громко, потому что правда у него всегда была шёпотом.

— Позвольте представить хронологию, — зашипел он, разворачивая свиток, пахнущий нафталином и страхом. — Год 1955-й. Школа. Он уходит из пятого класса, потому что ему «скучно». Год 1956-й. Завод «Арсенал». Работает фрезеровщиком. Но делает брак! Семнадцать процентов брака! Почему? Потому что вместо того чтобы смотреть на станок, он смотрит в окно на закат и бормочет что-то про рифмы. Его увольняют. Год 1957-й. Морг. Помощник санитар. Трупный запах не мешал ему записывать в блокнот: «И смерть есть лишь продолжение речи». Судья, видите ли! Он не орудовал скальпелем! Он орудовал метафорами! Разве можно накормить страну метафорами? Разве можно построить социализм на ямбе?

В зале раздался хриплый смех. Это был **Адвокат**, которого прислала Анна Ахматова — точнее, её тень, которая ещё не успокоилась и даже здесь, на небесах, носила чёрную шаль с прорезями для глаз.

— Можно! — крикнула она. — И не просто можно — нужно! Вы, господин Шепот, строите свои доклады на обмане. Он работал! В геологических экспедициях он таскал на себе буровые установки, пока вы, в своих кабинетах, пересчитывали доносы. В кочегарке он стоял у топки, и его стихи были горячее пара. А в морге — да, там были трупы. Но он возвращал им имена! Он писал: «Как труп, я тоже часть природы». И это был не цинизм, господа, это была попытка выменять душу на язык!

Но её речь, пламенная и неровная, произвела обратный эффект. Функционер нахмурился. Бумаги на столе покраснели, как будто их облили кровью.

— Статья 206-я, — прошелестел Шепот, доставая новый козырь. — «Уклонение от общественно полезного труда». Субъект не состоял в Союзе писателей. Он перебивался переводами

испанских сонетов, которые никто не заказывал. Он написал «Большую элегию Джону Донну» в 1963 году. Но кто такой Донн? У нас есть Донбасс! Есть Днепрогэс! А Донн — это иностранный агент, завернутый в метафизику. Иосиф Бродский не имел ни одного официального документа, подтверждающего, что он — человек.

— А кто меня причислил к роду человеческого? — раздался голос с задних рядов.

Это был **Сам Подсудимый**. Он сидел на табурете, обмотанном колючей проволокой, которая, однако, не касалась его тела. Проволока вилась вокруг него, как время вокруг чёрной дыры. У него было лицо мальчика из блокадного Ленинграда, но глаза — старика, который уже умер сто раз. На нём была не тюремная роба, а старая фланелевая рубашка с расстёгнутым воротом, и он слегка сутулился.

— Вот именно! — закричал Адвокат-Ахматова. — Слышите? Вопрос не о работе, вопрос о признании! Вы спрашиваете: «Чем вы занимаетесь?» Он отвечает: «Пишу стихи». Вы: «Кто вас признал поэтом?» Он: «Никто». И вы победоносно записываете это в протокол. Но ведь вы сами, господа, только что признали, что *никто* на земле не имеет права присваивать человеку его суть! Суть — это не печать в трудовой книжке!

Тут с места поднялся **Свидетель Номер Три** — бывший судья того самого, ленинградского процесса, женщина с лицом, вылепленным из глины и презрения. Её звали Вера Ивановна, но на небесах её называли **Костяная Нога**.

— Я вынесла приговор! — крикнула она, стуча кулаком по пюпитру. — И я была права! Он отказался от рабского труда, чтобы служить бесам поэзии! Мы давали ему шанс: иди на завод, пиши в стенгазету! Нет! Он принёс на суд стихи про мышшь, которая ищет сыр в пустоте. Какая польза государству от мышши, которая ищет сыр? Мы отправили его в Норенскую, на север! И что он там делал? Мерз? Нет! Он писал про облака, которые похожи на рваные простыни. Он возил навоз, но превращал его в строфы. Я хотела сломать его, а он сделал из моей злобы — элегию!

Она заплакала железными слезами. Её слёзы стучали по столу, как дробь дождя по крыше сарая. В зале запахло сыростью и прелым сеном.

Бродский поднял голову.

— Я не писал про облака, — тихо сказал он. — Я писал про прощание.

И вдруг бумаги на столе Функционера начали шевелиться. Это был странный эффект. Сначала протокол допроса, исписанный машинисткой «Ундервуд», покрылся плесенью. Затем краска на обвинительном заключении поплыла, как воск на свече. Слова «тунеядец» разбились на буквы: «Т», «У», «Н», «Е» — и эти буквы побежали по столу тараканами, ища щели, чтобы исчезнуть.

— Что это?! — закричал Шепот, хватая бумаги. — Остановите чародейство!

Но это было не чародейство. Это был голос Бродского, который он пока не произносил, но который уже начал звучать в самой структуре небесной канцелярии. Каждое его вздохновение разлагало ложь, как кислота разлагает ржавчину.

— Читайте его дело! — приказал Функционер. — Зачитайте все улики!

И тогда **Секретарь** — бесполое существо с очками на цепочке — начал перечислять:

— Акт о невыезде... Справка о прогулах... Письмо от пенсионерки, что он портит молодёжь своими ритмами... Заявление в милицию о том, что он называл город «Питером» вместо «Ленинграда»...

Каждая улика, как только Секретарь произносил её название, сворачивалась в труху. Справка о прогулах превратилась в пепел, на котором проступили строки: «Я не люблю свою страну, но иногда, когда я слышу её говор...» Письмо пенсионерки вспыхнуло синим пламенем, и в нём обнаружили тетрадные листы с «Рождественским романсом».

В зале воцарился хаос. Ахматова хохотала, как безумная. Костяная Нога пыталась ловить улетающие протоколы, но они проходили сквозь её пальцы, как облака.

— Это невозможно! — заорал Шепот. — Суд не может вынести решение, если исчезают доказательства!

Функционер поднял свою стальную ладонь, и в комнате наступила тишина. Только слышно было, как за окном, вместо ветра, перелистываются страницы Библии и Уголовного кодекса одновременно.

— Послушайте, — сказал он, глядя прямо в глаза Бродскому. — Я задам последний вопрос. Не про работу. Не про поэзию. Про суть. Кто ты, Иосиф?

Бродский встал с табурета. Колючая проволока упала к его ногам, свернувшись кольцами, как сброшенная кожа змеи. Он не стал читать стихов. Он просто открыл рот, и из него вылетела **нота**. Одна нота. Она была похожа на звон разбитой рюмки в блокадном Ленинграде, на хруст снега под сапогами геолога, на скрип пера в норильской ссылке.

И эта нота вошла в уши Функционера, и тот услышал всё сразу: как мальчишка читает инструкцию «Зингер», как фрезерный станок поёт фугу, как труп в морге шепчет «прощай», как ветер над Архангельской областью выдувает из человека всю злобу и оставляет только звук.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.